

Леонид Леонов — «Вор»

Этот роман существует в трёх версиях: исходная, 1926-27 гг.; переделка 1959 г.; и переделка 1982 г. В 20-е годы роман прогремел, но и получил жестокую советскую критику. К 50-м годам изрядно забылся, и, видимо, автор захотел дать ему новую жизнь, но уже приемлемую в советском русле. (Этой редакции я вовсе не смотрел.) Судя по году, выскажу догадку, что уступки могли быть значительны и досадны для автора. Отсюда могла возникнуть потребность в 3-й редакции, в чём-то возобновительной, а само собой — и с нарастающим от возраста мастерством. (Я сверил лишь уступки нескольких ранних мест, не сплошь.) В дальнейшем разбор идёт только по исходному варианту 20-х годов.

Ставка автора — на занимательность и сквозную яркость изображения, чего бы ни коснулся. Напряжённо старается писать свежо, фигуристом. Особенно заметно такое в начале книги, потом эта литературная непростота (расчёт на образованного читателя) исчезает. Но это — и не в струе тогдашнего авангардизма, никак. Пожалуй: ещё не было схожих текстов в русской литературе, свежесть — отменная.

Тем не менее — автор под сильным влиянием Достоевского. Однако — никак не ученическим: Леонов — не в ряду покорённых, увлечённых учеников. Влияние Достоевского у него переплетается с самобытностью. От Достоевского — непомерное сгущение сцен (как именины у толстухи Зиной, ч. II, гл. 13—15, переходящие в разоблачительное чтение дневника унижаемого соседа; или поминки у неё же, III, 4—5); внезапность появления новых лиц; пестрейшие компании, карнавал персонажей, типов; бурный поток монологов, полилогов, да с обострениями; надрыв, униженность, юродство; или неправдоподобные сочетания, как вор Митька Векшин перед *правилкой* над предателем банды прыгает на ходу в пролётку психиатра с острым вопросом: допустимо ли убить безоружного человека (IV, 3) — и следует блистательный диалог. Однако: Леонов *не* повторяет словесной фактуры Достоевского, в подражание чему чаще всего и впадают. И ещё Леонов ярко *расцветчивает* все лица, тогда как романы Достоевского льются скорее в серо-бело-чёрном цвете, красок недостаёт. Но — нет у нашего автора нигде той высоты мыслей и того духовного верхнего “этажа”, какими так славен и характерен Достоевский.

Вполне в манере Достоевского и действует в романе всеобщий доверенный посредник (“конфидент”) — посторонний свидетель многих ситуаций, сюжетно связывающий персонажей. В качестве такого введен писатель Фирсов. Само по себе введение писателя как действующего лица всегда производит впечатление вторичности произведения, недостатка авторского воображения. Но тут у Леонова решение нерядовое, динамичное. Фирсов задумал роман о воровской среде, собирает материалы по требованиям сюжета то там, то здесь, вступает в личные соотношения с персонажами, кому помогает, с кем дружит, с кем пропивает гонорар, в кого влюбляется, попадает и сам в “достоевские” сцены наплыва визитёров или исповедательные (как с убийцей Аггеем, I, 20,

возжелавшим перед смертью оставить и свой след в публичности); да и фирсовская манера сбивчивых бесед и метаний тоже отдаёт Достоевским. В таком включении сочинителя есть и удавшаяся игривость (ещё усиленная юмористической добавкой вора Доньки, изливного в стихах). Создаётся двоение литературной формы, роман в романе, как составное яичко в яичке — хотя от этого же снижается реальный вес книги. (Конечно, в советских условиях такой назойливый собиратель сведений был бы всеми сочтён сексотом и отвергнут, но уж тут условность.) Заодно через Фирсова демонстрируются и находки из леоновской записной книжки, неиспользованные фрагменты авторского пера, да и попытки высказаться по философским верхам, хотя это не получилось веско. Через него же, осторожно, ощущение писателя в советском бытии: “Наше время нужно пока запечатлевать лишь в фактах, без всяких примечаний”, и “пририсовал домик с решётчатым окошком”. — “Писатель сейчас в забвении. С нами общаются только через фининспектора. Какая расточительная щедрость эпохи”.

Но вот, незримо для нас, тот мнимый, вставной роман уже написан и опубликован, ранее реального, ещё незаконченного, оттого расходится с ним в развязке, но даёт возможность Леонову огласить и предупредить ожидаемую им будущую критику. Роман Фирсова громят за “идеологический пессимизм”, “идеологические ошибки”, за “подражательность классике”. “Как мог, на самом рассвете” общественного бытия, герой Гражданской войны (Дмитрий Векшин) опуститься в вора? Сказалась “недостойность эстетического подхода к революции”. (Да не “эстетического”, а затруднение Леонова было в том, что не мог он распахнуть в Векшине прямое разочарование итогами революции. Я не искал по газетности, как на самом деле честили леоновского “Вора”, думаю, что и покрепче.)

Роман “Вор” изобилует яркими сценами (трактир, шалман, застолья, цирк и многое другое). При этом Леонов никогда не измельчается в лишних деталях, а выхватывает: живопись и портретность. Везде очень свободный, нестеснённый (и своеобразный в разных социальных слоях) диалог, иногда и до нарочитой изощёренной ломаности. Клубок персонажей очень уплотнён (хотя местами искусственно). Действие весьма стремительное, пустых глав не бывает. Много живого остроумия.

Но всё это с оговоркой: так — в первых двух частях. Они — целиком необходимы в общей композиции и наилучше разработаны. В начале III части ещё сохраняется та же хваткость, блестящие главы — и вдруг ощущение опадания действия, необязательные сцены, как будто сюжеты исчерпались — и автор не знает, чем наполнить, и можно бы идти к развязке? Роман как бы начинает распадаться сам собою, теряет упругость, плотность, хребет. В начале IV части — короткая вспышка на несколько глав, снова острая проза, сверкающие диалоги, сцены (как изящно передана, IV, 4—5, вся смена блюд, никак не давая прямого описания стола). Но нет, дыхание не возвращается в роман, сущностного действия всё равно уже нет, оно исчерпалось. Автор затягивает развязку, да явно колеблясь, как быть с заглавным персонажем Митькой, неместно добавляет ещё новое юмористическое лицо, смазывает сцену решающей воровской *правилки* — вялое, затянутое, неубедительное окончание. (В редакции 1982 часть IV

отсутствует, заменена укороченным Эпилогом.)

Однако: насколько роман оправдывает своё название? Насколько Дмитрий Векшин (один раз названный и “русским Рокамболом”) является смысловым и организующим стержнем книги? — Никак. Здесь что-то не задалось. В многочисленных (и удачливых) заботах о множестве образов и, хотя бы с III части, в сомнениях-томлениях об общей конструкции и задаче — автор не нашёл истинного места и смысла заглавному герою.

Первое появление Векшина в трактире как будто обещает богатую разработку образа. Однако она не состоялась, даже и внешне мы его плохо различаем: крупная фигура, мало представимые у него бачки? — да вот чуть ли и не всё, что остаётся в памяти читателя.

Формально узнаём, что Дмитрий — сын что-то очень уж нищего железнодорожного будочника (это — реверанс автора: мол, в дореволюционной России весь народ был нищ?), ушедший из дому в раннем возрасте, прошедший юность неизвестно где, — в Гражданскую войну был, ни много ни мало, комиссаром кавалерийского полка. Но и это важнейшее прошлое героя сообщено нам одним лишь *названием*, не проявлено чертами характера, и не узнаём из тех лет никаких реальных эпизодов. (Все воспоминания о Гражданской войне — почти игрушечны.) Или — сохранившийся бы круг ветеранов, военных друзей? (Только двое: ординарец его Санька-Велосипед стал вором, по-прежнему почитающим своего Хозяина; и другой — Аташез, тогдашний секретарь полковой ячейки, теперь — директор, советский чин, но — эпизодическое лицо.) Сообщено вскользь: потом, за самоуправство, Векшин был отстранён от должности — но не видно, чтоб судим? и как и когда ушёл из партии большевиков, или из Красной армии? Затем одно упоминание о 1924 году: когда в Доме Союзов стоял гроб с Лениным, то Векшин ходил ко гробу: прежде того “он полон был надежд говорить с Лениным, единственным человеком, которому доверялся весь”. — Но вот разливается НЭП, и мы почти сразу видим Митьку воровским паханом и лично *медвежатником* — вскрывателем сейфов. Да в каком-то полусознательном состоянии (которое дальше овладевает им всё чаще) бредущим в то самое акционерное общество, которое ночью ограбил и где как раз производят розыск. (Благополучно его миновав, вскоре почти все выкраденные тысячи проигрывает в карты.)

Замах замысла можно понять: красный комиссар — и вдруг воровской вожак? — в советское время? (Кто знает много биографий тех лет, так и не очень удивится.) Но Леонов — из осторожности? — уходит от мотивировок, от объяснений, даже в ущерб простой живости героя. Воровская компания (тот же Санька-Велосипед, и Донька, и Панама-Толстый, и балтийский матрос Анатолий Машлыкин, в Гражданскую “одиннадцать атаманов своими руками задавил”, и убийца Аггей) обрисована ярко. Особенно Санька-Велосипед, решивший “завязать” воровскую жизнь, соединившийся с милой тихой женщиной и насильно вырываемый Хозяином в “дело”, — мстит ему тем, что выдаёт.

Большую часть романа Митька неприкаянно бродит, ища, у кого утолить душу — или у Маши Долмановой, отторгшей его возлюбленной ещё отроческих лет и тоже опустившейся в воровской мир; или у чудака-слесаря одинокого Пчхова (исповедуется ему: “Обрублен я и боли не чувствую”); или у влюблённой в

него соседки по коммунальной квартире. То — болен влѣжку, то в сумбуре, то в нём какие-то “голоса кричат, разрывают”, то галлюцинации; то в нём “непомерно очищенные мысли” (но нам не приведены), какие-то внутренние умственные монологи, явно не по нему. (Портит и лобовое — для цензуры? — авторское объяснение: “Лишь на перегоне двух эпох, в момент великого переустройства, возможно такое болезненное метание”, — о, далеко не только “на перегоне”.) Вослед этим шатаниям бредѣт и читатель в попытке понять, чем же это кончится. Воровское “дело” показано одно, неудачное (подкоп под ювелирный магазин). Да разок посещение “шалмана” для картѣжной игры. Кто-то выдал их милиции. Подозрение-догадка, кажется, на возлюбленную Машу — и к концу II части мнится, что Митька готовится к расправе — не открытой нам, и тем загадочней (II, 17). Но намерение его, накалѣнное знойным днѣм при чьих-то похоронах, гроб обтянут красной бязью, и красное платице помнится у любимой, — далее перезатянута и увяло ничем (II, 23). Вот не тут ли и потерян возможный стержень сюжета. (Расплата, но уже с другим предателем, оттягивается до конца IV части.)

В опережающем (и не совпадающем) сюжете Фирсова — “вор, по честности и воле, погибнет смертью жестокой и великолепной”. Было ли так задумано у Леонова? Но решилось совсем не так.

Самое неестественное, что Митька не прячется, живѣт открыто, при известной его воровской славе, — и никто его не арестовывает. Или это — от века “социальной близости”? власти заняты “контрреволюционерами”? Всѣ тот же Аташез ободряет Митьку: не задержу тебя, “такие нам нужны. Ты дороже 40 тысяч [человек? рублей?] стоишь”, уезжай-ка ты из Москвы в 24 часа. Но Митька с атаманской малодвижностью и не шевелится на совет. — Между тем забрасывается нам и такая социальная версия: будто Митька в натуре не простонароден, а — незаконный сын помещика Манюкина — ныне разорѣнного революцией и тоже нам показанного, очень ярко.

Так и не освоюсь с главным героем романа, плохо разведев его и не поняв — читатель к самому концу книги награждѣн милым социалистическим решением: Митька уехал в дальнее сельское место, пошѣл к лесорубам, научился у них трудиться, затем поступил на завод, одновременно учился, — ну и так стал достойным членом общества. И не опозорил своего комиссарского прошлого...

И — стоило огород городить, Леонид Максимыч?

Несостоявшаяся подруга Митьки — Маша-Вьюмба (детская любовь их описана лирично), чья юность искалечена воровским изнасилованием, она — куда внятней (ещѣ урезчѣнее от женских демонических характеров Достоевского). Метучая, властная, мгновенно-решительная, — такую стала она из кроткой девочки. Да, это она и заложила шалман, чтобы погубить своего насильника Аггея (вскормленного на крови той же Гражданской войны). У неѣ броская, меткая, точная речь. И “отточенная, бесстрашная еѣ красота”; “к еѣ лицу не шло сострадание. В рисунке еѣ стремительных бровей и тонких повелевающих губ негде было уместиться даже любовной жалости”. Митьку в его душевном сокрушении и упадке она вглубоке продолжает любить, но не до того, чтобы вернуться к нему. Маша-Вьюмба — “неотгоняемое видение” и для сочинителя Фирсова, он падает перед ней на колени. (Еще о ней между делом: с

Семнадцатого года она сочувствовала красным.)

Напротив, изрядно бледно обрисована Митькина сестра Таня; образ её поддерживается почти только цирковым акробатическим антуражем. Что она когда-то разобьётся — это обречённо предвидимо. Не растепают и похороны её.

Но она и приписана-то в роман лишь в дополнение к Николке Заварихину, с кем тщетно пытается совершить “бегство в замужество”. Заварихин — “русская сила” — самобытный, предприимчивый деревенский парень, ринувшийся в нэповский город для делового разворота и обогащения — “как бы имея весь мир в кармане”, стать “хозяином льна”. К Тане у него грубая нежность, но даже и простого внимания к ней не хватает за напряжёнными деловыми заботами. Уже после близости (в размышлении: “смотри, клоп ползёт” по стене) одолжает у Тани денег для разворота своего дела, но при этом обещает, что отдаст с процентами. При первом увидении её акробатического номера (ещё до знакомства) сдуру заорав на весь цирк: “Разбейся!”, — он потом поддерживает Танино намерение оставаться в цирке: больше дохода будет.

Собственно, тип такой, с лихо купеческими разворотами — то широкий кутёж в кабаке для всех присутствующих (“разгневанная сила”), то ярая гоньба в пролётке (“хорошее приспособление лошадь”, а “машину не разжалобишь”), притом и с жадностью в расчётах и в быту, — для русской литературы никак не нов и многовариантно описан. Нова лишь привязка к нэповскому периоду после недавней деревенской хлебозаготовочной выголки, озверившей Заварихина: “Совість заместо хлеба сожрали в голодные годы”. (Но об этом мотиве автор больше ни слова.) В отличие от безудачного воровского вожака, которого автор пытается (малоуспешно) выставить нам романтически, — Заварихин без снисхождения окарикатурен. И это — с целью. У Леонова проступает здесь такое социальное провидение: вор — идёт вниз, а этот мужик, “дикая сила”, — вверх. И пред близким торжеством такого типа зрится Леонову опасное будущее, деревня ему страшна. В другом месте: “Берегись, как бы осмеянный тобою богоносец не надел жилетку с серебряной цепочкой через грудь”.

Но в предчувствии таком, в опасении своём Леонов сильно прошибается: ещё два-три года, и всех этих заварихиных смелет с костями большевицкая мясорубка, а воры-то многие как раз успешно вращаются в советский аппарат.

Русская деревня тоже слегка присутствует в романе — но как? Вот этот угнетающий грабёж, насилие от властей, расстрелы, голод — разумеется не даны ни штрихом. Сперва — курьёзное и злозавистливое письмо от заброшенного Митькой его сводного брата Леонтия; затем, уже в III части, при расслаблении фабулы, автор отправляет Дмитриядохнуть деревенского воздуха, освежиться душой. И попадает он там на карикатурную бессмысленную свадьбу с непристойными танцами. (“Развалившееся очарование детства и родины”.) У Леонтия — “крупные, из чёрного камня выточенные глаза”, а речь — замудрёная, с ускользающим смыслом, и очень злая. “Вплотную поговорить, чтоб страшно стало обоим”. Напряжённо, но неясными словами выражает Леонтий мужицкий протест против всего городского. (Вообще народные слова рассыпаны небогато.) Дмитрий теряется перед братом и поспешно уезжает в город.

Не прямо от автора, а почти и прямо: “Электрические вожжи нужны для этой враждебной дикой силы. Умная турбина, новый человек”. (Вслед “Вору”,

через год, Леонов опубликовал ещё “Необыкновенные истории о мужиках”, где русская деревня показана зверским лицом, — так благословение грядущему раскулачиванию? Ещё через год, в 1929, наш автор стал и председателем Всероссийского союза писателей...) От Леонова — по его последним книгам старости? — этого не ждёшь: такого отшата от народного сознания, такой чужести ему.

А более всего удались Леонову второстепенные персонажи, отчётливые характеры, — от них в романе яркое многолюдное оживление. Кроме трактирной публики да воровского шалмана большая часть их втиснута в одну и ту же коммунальную квартиру, где они и мелькают, где и происходят многие с ними события.

Тут и насадчик всех законов фининспектор, и он же преддомкома, Чикилёв. (Развешивает по квартире постановление, “правила жизни”, блюдёт за недопустимыми отклонениями. “Через милицию буду действовать”.) — Любвеобильная толстуха Зинка Балдуева (поющая песенки в пивной). — Её брат Матвей, всё сидящий над классиками марксизма (а спит на ящиках), сестре: “Родство наше — простая случайность”. — Тут и разорённый революцией барин Манюкин, зарабатывающий тоже в пивных и трактирах, перед гуляющим народом, витиеватыми импровизациями — яркословными, даже с избытком яркости картин. (Этому Манюкину, когда-то создателю земской школы, когда-то владельцу многотысячной, теперь отобранной, библиотеки, “на семи грузовиках увезли в революцию”, — ходом романа затем приписано внебрачное отцовство — то ли Митьки, то ли Леонтия.) Ныне Манюкин, почти раздавленный, жалкий, трепещет перед Чикилёвым — до “льстивого скрипа дверью”, чтобы быть неслышным. А Чикилёв снисходит до женитьбы на Зинке, но высмеян ею: “воробей к корове сватается!” — Ещё одна соседка по квартире говорит всего несколько фраз — а характер! — Ещё, особняком от этой квартиры, — старобытный, нутряной, весьма характерный слесарь Пчхов в одинокой конуре, изрекающий мудрости косным языком. И милейший старый немец-циркач Пугель, заботливый опекун Тани.

Как жаждет Фирсов “кусоч прямо из жизни вырвать” — так щедро вырывает и представляет нам подлинный автор романа. Удача — большая.

Но все эти персонажи и события льются в обычном жизненно-бытовом потоке, почти не несут разительных жестоких черт первого советского десятилетия. Однако вправе ли мы из исторического далека упрекнуть раннего Леонова в том, что он старается эти черты обходить? Ему, видно, и так изрядно досталось от советской критики за показанное, это можно проследить и по довольно-таки невинным фрагментам, которые он выбрасывал при поздних редакциях. Например:

— одно высокое лицо сказала: писать непременно полезное в общем смысле;

— жизнь приходит в стройный порядок: пропойца пьёт, поп молится, нищий просит, жена дипломата чистит ногти;

— за человеком следить надо, человека нельзя без присмотра оставлять. В будущем государстве каждый может прийти ко всякому и наблюдать его жизнь. Тогда все поневоле честными будут.

Не проследил я, остались ли, или убраны такие места:
— официальный курс страны на краснощёкого человека;
— кругло выдумать, так незачем и от правды отличать;
— согласно декрету, но не забываются;
— все законы исполнять — тогда и жить станет николи;
— жалость — контрреволюционная добродетель;
— Не трудящийся не должен кушать — ведь это против меня направлено!
— Синдетикон варить из всех бесполезных;
— Пора, наконец, перепланировать вселенную;
— Будь я начальник, я бы всем сочинителям приказал на жизнь смотреть весело;
— Из мести нынче пишут, а месть плохое вдохновение;
— товарищ монархист! одолжи рубль до восстановления родины;
— Всё сумбур какой-то. Ты скажешь: поезд из мрака туннеля ещё не вырвался в голубой просвет? А не долог ли туннель? не безвыходен ли?

Большая доля таких мыслей приписана потерянному барину Манюкину. А вот из недавних красных бойцов, разочарованных наступившим НЭПом (модная тогда тема):

— А спекулянтствующая дрянь смеётся. Да, погибла революция.

Митька Векшин ему, “трудным грудным шёпотом” (иначе прозвучит фальшиво, автор-то понимает):

— Ты смеешь задирать хвастливые рога перед революцией? Она идёт из миллионов сердец, валит горы, перешагивает бездны. Революция есть полёт вперёд и вверх.

Ответ:

— А пятка у неё тяжёлая? а глаз в пятке нет.

Промелькнут черты быта: “советский чин, прогуливающий казённые червонцы”; “введение в пивных — просветительных программ”; “обширная борода великого зачинателя”; “приличный притон”, а “в соседних кварталах гроздились семьи ответственных работников”; “Глаза людей смотрели глухо, как бы сквозь дымку, за которой укрывались от правды завтрашнего дня”; “Живы ещё слёзы в людях”.

Что ж, и это всё — немало. Советская действительность изрядно прикрыта, ГПУ не нависает, как всюду у Булгакова, но Эпоха — не пренебрежена. Да руки надо держать писателю коротко.

Язык Леонова в “Воре” упруг, многими местами изобретателен. Но иногда автор нарушает “звуковой фон”, употребляет слова по соседству с прямой речью — непостижимые для говорящего персонажа.

Для передачи пейзажа Леонов ищет свежие выражения. Солнце, луна — каждый раз новыми словами. “Пространные взбеги голубых небес” (между облаками); “небо, заряженное громами, стремглав несло, одетое в дождливые облака”; “небо висело”; “клок неба торчал”; “предвестные лучи”; “бушуют звёзды”; “как не лопнут щёки у ветра?..”; “скачут листья”; “золотозакатный подсолнух”; “ненадыханный май”; “пустовейная тишина”; “слежалась густая,

влажная тишина”; “пел снег под ногами”; выражала “вода откровенные свои смыслы”. И городской пейзаж у него виден. (Да и сельский — в лирических сценах юных Мити и Маши.)

Но поиск свежих выражений — и шире, не только к пейзажу.

“То неточное и неуловимое, что люди называют жизнью”. — “Большая любовь [к революции, к Интернационалу?], разделённая на всех, согревала не жарче стеариновой свечи”. — “Деревья великодушнее людей”. — “С грохотом вонзаясь в убегающую даль” (поезд); “тесно уху от грохота”; “полузабытый шелест её одежд”; “робкая видимость слезы”; “изюмные глаза жаворонков”; “шрапнель раскрывала смертоубийственную пятерню”; “каждому металлу своя ржавь” (цвет ржавчины, Пчхов); “ноги лошади махом рвали пространство”; “колесатые гиганты” (автобусы); “многожелезное звучание”; “щекотальная музыка”; Зина “точно держала две дыни за пазухой”.

Блистательно выдержана речь Манюкина и Чикилёва. Да и диалоги воровского мира, без пересыщения их жаргоном.

Из «Литературной коллекции»

Опубликовано в журнале Новый Мир, номер 10, 2003